

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МЕМУАРЫ

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

**Живу
ДО ТОШНОТЫ**

**АСТ
Москва**

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Ц27

Цветаева, Марина

Ц27 Живу до тошноты. / Марина Цветаева. — Москва: АСТ, 2015. — 352 с. — (Эксклюзивные мемуары).

ISBN 978-5-17-089010-1

«Живу до тошноты» — дневниковая проза Марины Цветаевой — поэта, чей взор на протяжении всей жизни был устремлен «вглубь», а не «вовне»: «У меня вообще атрофия настоящего, не только не живу, никогда в нём и не бываю». Вместив в себя множество человеческих голосов и судеб, Марина Цветаева явилась уникальным глашатаем «живой» человеческой души. Перед Вами дневниковые записи и заметки человека, который не терпел пошлости и сделок с совестью и отдавался жизни и порождаемым ею чувствам без остатка: «В моих чувствах, как в детских, нет степеней».

Марина Ивановна Цветаева — великая русская поэтесса, чья чуткость и пронизательность нашли свое выражение в невероятной интонационно-ритмической экспрессивности. Проза поэта написана с неподдельной искренностью, объяснение которой Иосиф Бродский находил в духовной мощи, обретенной путем претерпеваний: «Цветаева, действительно, самый искренний русский поэт, но искренность эта, прежде всего, есть искренность звука — как когда кричат от боли».

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Дневниковая проза
Октябрь в вагоне
(Записи тех дней)**

Двое с половиной суток ни куска, ни глотка. (Горло сжато). Солдаты приносят газеты – на розовой бумаге. Кремль и все памятники взорваны. 56-ой полк. Взорваны здания с юнкерами и офицерами, отказавшимися сдать. 16 000 убитых. На следующей станции – уже 25 000. Молчу. Курю. Спутники, один за другим, садятся в обратные поезда.

Сон (2-е ноября 1917 г., в ночь).

Спасаемся. Из подвала человек с винтовкой. Пустой рукой целюсь. – Опускает. – Солнечный день. Влезаем на какие-то обломки. С<ережа> говорит о Владивостоке. Едем в экипаже по развалинам. Человек с серной кислотой.

Письмо в тетрадку

Если Вы живы, если мне суждено еще раз с Вами увидеться — слушайте: вчера, подъезжая к Харькову, прочла «Южный Край». 9000 убитых. Я не могу Вам рассказать этой ночи, потому что она не кончилась. Сейчас серое утро. Я в коридоре. Поймите! Я еду и пишу Вам и не знаю сейчас — но тут следуют слова, которых я не могу написать.

Подъезжаем к Орлу. Я боюсь писать Вам, как мне хочется, потому что расплачусь. Все это страшный сон. Стараюсь спать. Я не знаю, как Вам писать. Когда я Вам пишу. Вы — есть, раз я Вам пишу! А потом — ах! — 56 запасной полк. Кремль. (Помните те огромные ключи, которыми Вы на ночь запирали ворота)? А главное, главное, главное — Вы, Вы сам. Вы с Вашим инстинктом самоистребления. Разве Вы можете сидеть дома? Если бы все остались. Вы бы один пошли. Потому что Вы безупречны. Потому что Вы не можете, чтобы убивали других. Потому что Вы лев, отдающий львиную долю: жизнь — всем другим, зайцам и лисам. Потому что Вы беззаветны и самоохранной брезгуете, потому что «я» для Вас не важно, потому что я все это с первого часа знала!

Если Бог сделает это чудо — оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами как собака.

Известия неопределенны, не знаю, чему верить. Читаю про Кремль, Тверскую, Арбат, «Метрополь», Вознесенскую площадь, про горы трупов. В с<оциал>-р<еволюционной> газете «Курская Жизнь» от вчерашнего дня (1-го) — что началось

разоружение. Другие (сегодняшние) пишут о бое. Я сейчас не даю себе воли писать, но тысячи раз видела, как я вхожу в дом. Можно ли будет проникнуть в город?

Скоро Орел. Сейчас около 2 часов дня. В Москве будем в 2 часа ночи. А если я войду в дом – и никого нет, ни души? Где мне искать Вас? Может быть, и дома уже нет? У меня все время чувство: это страшный сон. Я все жду, что вот-вот что-то случится, и не было ни газет, ничего. Что это мне снится, что я проснусь.

Горло сжато, точно пальцами. Все время оттягиваю, растягиваю ворот. Сереженька.

Я написала Ваше имя и не могу писать дальше.

* * *

Трое суток – ни с кем ни звука. Только с солдатами, купить газет. (Страшные розовые листки, зловещие. Театральные афиши смерти. Нет, Москва окрасила! Говорят, нет бумаги. Была, да вся вышла. Кому – так, кому – знак).

Кто-то, наконец: «Да что с вами, барышня? Вы за всю дорогу куска хлеба не съели, с самой Лозовой с вами еду. Все смотрю и думаю: когда же наша барышня кушать начнут? Думаю, за хлебом, нет – опять в книжку писать. Вы что ж, к экзамену какому?»

Я, смутно: «Да».

Говорящий – мастеровой, черный, глаза, как угли, чернобородый, что-то от ласкового Пугачева.

Жутковат и приятен. Беседуем. Жалуется на сыновей: «Новой жизнью заболели, коростой этой. Вы, барышня, человек молодой, пожалуй и осудите, а по мне — вот всё эти отребья красные да свободы похабные — не что иное будет, как сомущение Антихристово. Князь он и власть великую имеет, только ждал до поры до часу, силу копил. Приедешь в деревню, — жизнь-то серая, баба-то сивая. «Черт, шут»... Гляди, кочерыжками закидает. А какой он тебе шут, когда он князь рожденный, свет сотворенный. На него не с кочерыжками надо, а с легионами ангельскими»...

Подсаживается толстый военный: круглое лицо, усы, лет пятьдесят, пошловат, фатоват. — «У меня сын в 56-ом полку! Ужасно беспокоюсь. Вдруг, думаю, нелегкая понесла». (Почему-то сразу успокаиваюсь)... «Впрочем, он у меня не дурак: охота самому в пекло лезть!» (Успокоение мгновенно проходит)... «Он по специальности инженер, а мосты, знаете ли, все равно для кого строить: царю ли, республике ли, — лишь бы выдержали!»

Я, не выдерживая: «А у меня муж в 56-ом». — «Му-уж? Вы замужем? Скажите! Никогда бы не подумал! Я думал барышня, гимназию кончаете. Стало быть, в 56-ом? Вы, верно, тоже очень беспокоитесь?» — «Не знаю, как доеду». — «Доедете! И свидитесь! Да помилуйте, имея такую жену — идти под пули! Ваш супруг себе не враг! Он, верно, тоже очень молод?» — «Двадцать три», — «Ну, видите! А вы еще волнуетесь! Да будь мне двадцать три года и имей я такую жену.. Да я и в свои пятьдесят

три года и имея вовсе не такую жену»... (Я, мысленно: «в том-то и дело!») Но почему-то, все-таки, явно сознавая бессмысленность, успокаиваюсь).

* * *

Сговариваемся с мастером ехать с вокзала вместе. И хотя нам вовсе не по дороге: ему на Таганку, мне на Поварскую, продолжаю на этом строить: отсрочку следующего получаса. (Через полчаса Москва). Мастерской — оплот, и почему-то мне чудится, что он все знает, больше — что он сам из князевой рати (недаром Пугачев!) и именно оттого, что враг меня (С<ережу>) спасет. — Уже спас. — И что нарочно сел в этот вагон — оградить и обнадежить — и Лозовая ни при чем, мог бы просто в окне появиться, на полном ходу, среди степи. И что сейчас в Москве на вокзале рассыпется в прах.

* * *

Десять минут до Москвы. Уже чуть-чуть светлеет, — или просто небо? Глаза к темноте привыкли? Боюсь дороги, часа на извозчике, надвигающегося дома (смерти, ибо — если убит, умру). Боюсь услышать.

* * *

Москва. Черно. В город можно с пропуском. У меня есть, совсем другой, но все равно. (На об-

ратный проезд в Феодосию: жена прапорщика). Беру извозчика. Мастеровой, конечно, канул. Еду. Извозчик рассказывает, я отсутствую, мостовая подбрасывает. Три раза подходят люди с фонарями. — Пропуск! — Протягиваю. Отдают не глядя. Первый звон. Около половины шестого. Чуть светлеет. (Или кажется)? Пустые улицы, пустующие. Дороги не узнаю, не знаю (везет объездом), чувство, что все время влево, как иногда мысль, в мозгу. Куда-то сквозь, и почему-то пахнет сеном. (А может быть, я думаю, что это — Сенная, и потому — сено)? Заставы чуть громыхают: кто-то не сдается.

Ни разу — о детях. Если С<ережи> нет, нет и меня, значит, нет и их. Аля без меня жить не будет, не захочет, не сможет. Как я без С<ережи>.



Церковь Бориса и Глеба. Наша, Поварская¹. Сворачиваем в переулок — наш, Борисоглебский. Белый дом Епархиального училища, я его всегда называла «volière»: сквозная галерея и детские голоса. А налево тот, зеленый, старинный, навывтяжку (градоначальник жил и городовые стояли). И еще один. И наш.

Крыльцо против двух деревьев. Схожу. Снимаю вещи. Отделившись от ворот, двое в полувоенном. Подходят. «Мы домовая охрана. Что вам угодно?» — «Я такая-то и здесь живу», — «Никого по ночам пускать не ведено». — «Тогда позовите, пожалуйста, прислугу. Из третьей квартиры».

(Мысль: сейчас, сейчас, сейчас скажут. Они здесь живут и все знают).

«Мы вам не слуги». — «Я заплачú».

Идут. Жду. Не живу. Ноги, на которых стою, руки, которыми держу чемоданы (так и не спустила). И сердца не слышу. Если б не оклик извозчика, и не поняла бы, что долго, что чудовищно-долго.

— Да что ж, барышня, отпúстите или нет? Мне еще на Покровскую надо.

— Прибавлю.

Тихий ужас, что, вот, уедет: в нем моя последняя жизнь, последняя жизнь до... Однако, спустив вещи, раскрываю сумку: три, десять, двенадцать, семнадцать... нужно пятьдесят... Где же возьму, если...

Шаг. Звук сначала одной двери, потом другой. Сейчас откроется входная. Женщина, в платке, незнакомая.

Я, не давая сказать: — Вы новая прислуга?

— Да.

— Барин убит?

— Жив.

— Ранен?

— Нет.

— То есть как? Где же он был все время?

— А в Александровском, с юнкерами, — уж мы страху натерпелись! Слава Богу, Господь помиловал. Только отощали очень. И сейчас они в N-ском переулке, у знакомых. И детки там, и сестры бариновы... Все здоровы, благополучны, только вас ждут.

— У вас найдется 33 рубля, извозчику доплатить?

— А как же, как же, вот сейчас только вещи внесем.

Вносим вещи, отпускаем извозчика, Дуня берет меня проводить. Захватываю с собой один из двух крымских хлебов. Идем. Битая Поварская. Булжники. Рывины. Небо чуть светлеет. Колокола.

Заворачиваем в переулок. Семиэтажный дом. Звоню. Двое в шубах и шапках. При чиркающей спичке — блеск пенсне. Спичка прямо в лицо:

— Что вам нужно?

— Я только что из Крыма и хочу к своим.

— Да ведь это неслыханно, в 6 часов утра в дом врывать!

— Я хочу к своим.

— Успеете. Вот заходите к 9-ти часам, тогда посмотрим.

Тут вступается прислуга:

— Да что вы, господа, у них дети маленькие. Бог знает сколько не виделись. И я их очень хорошо знаю, оне личность вполне благонадежная, свой дом на Полянке.

— А все-таки мы вас впустить не можем.

Тут я, не выдерживая:

— А вы — кто?

— Мы домовая охрана.

— А я такая-то, жена своего мужа и мать своих детей. Пустите, я все равно войду.

И, наполовину пропущенная, наполовину прорвавшись — шести площадок как не бывала — седьмая.

* * *

(Так это у меня и осталось, первое видение буржуазии в Революции: уши, прячущиеся в шапках, души, прячущиеся в шубах, головы, прячущиеся в шеях, глаза, прячущиеся в стеклах. Ослепительное — при вспыхивающей спичке — видение шкуры).

* * *

Снизу голос прислуги: «Счастливо свидеться!»
Стучу. Открывают.

— Сережа спит? Где его комната? И, через секунду, с порога:

— Сережа! Это я! Только что приехала. У вас внизу — ужасные мерзавцы. А юнкера все-таки победили! Да есть ли Вы здесь или нет?

В комнате темно. И, удостоверившись:

— Ехала три дня. Привезла Вам хлеб. Простите, что черствый. Матросы — ужасные мерзавцы! Познакомилась с Пугачевым. Серезенька, Вы живы — и...

* * *

В вечер того же дня уезжаем: С<ережа>, его друг Г<оль>цев и я, в Крым.

Кусочек Крыма

Приезд в бешеную снеговую бурю в Коктебель. Седое море. Огромная, почти физически жгущая радость Макса В<олошина> при виде живого Сережи. Огромные белые хлеба.

* * *

Видение Макса В<олошина> на приступочке башни, с Тэном на коленях, жарящего лук. И пока лук жарится, чтение вслух, С<ереже> и мне завтрашних и послезавтрашних судеб России.

— А теперь, Сережа, будет то-то... Запомни. И вкрадчиво, почти радуясь, как добрый колдун детям, картинку за картинкой — всю русскую Революцию на пять лет вперед: террор, гражданская война, расстрелы, заставы, Вандея, озверение, потеря лика, раскрепощенные духи стихий, кровь, кровь, кровь...

* * *

С Г<оль>цевым за хлебом.

Кофейня в Отузах. На стенах большевицкие воззвания. У столов длиннородые татары. Как медленно пьют, как скупно говорят, как важно движутся. Для них время остановилось. XVII в. — XX в. И чашечки те же, синие, с каббалистическими знаками, без ручек. Большевизм? Марксизм?

Афиши, все горло прокричите! Какое нам дело до ваших машин, Лениных, Троцких, до ваших

пролетариатов новорожденных, до ваших буржуазии разлагающихся... У нас урза, мулла, виноград, смутная память о какой-то великой царице... Вот эта кипящая смоль на дне золоченых чашечек...

Мы — вне, мы — над, мы давно. Вам — быть, мы — прошли. Мы — раз навсегда. Нас — нету.

* * *

Лунные сумерки. Мечеть. Возвращение коз. Девочка в малиновой, до полу, юбке. Кисеты. Старуха, выточенная, как кость. Изваянность древних рас.

* * *

В вагоне (обратный путь в Москву, 25-го ноября).

— Брешко-Брешковская — тоже сволочь! Сказала: надо воевать вам!

* * *

— Сгубить больше бедного классу и самим опять блаженствовать!

* * *

— Бедная матушка-Москва, весь фронт одевает-обувает! Мы Москвой не обижены! Больше все газеты смущают. Большевики правильно говорят, не хотят кровь проливать, смотрят за делом.

14 МАРИНА ЦВЕТАЕВА

* * *

В вагонном воздухе — топором — три слова: буржуи, юнкера, кровососы.

* * *

— Чтоб им торговля была лучше!

* * *

— У нас молодая революция, а у них, во Франции, старая, лежалая.

* * *

— Что крестьянин, что князь — шкура одинакая! (Я, мысленно: шкура-то именно и нет!).

* * *

— А офицер, товарищи, первый подлец. Я считаю: он самого низкого образования.

* * *

Против меня, на лавке, спит унылый, тощий, благоразумный Викжель.

* * *

Бог, товарищи, первый революционер!

* * *

Вы москвичка, вероятно? У нас на юге таких типов нет! (Прапорщик из Керчи).

* * *

Спор о табаке.

«Барышня, а курят! Оно, конечно, все люди равны, только все же барышне курить не годится. И голос от того табаку грубеет, и запах изо рта мужской. Барышне конфетки надо сосать, духами прыскаться, чтоб дух нежный шел. А то кавалер с любезностями — прыг, а вы на него тем мужским духом — пых!

Мужеский пол мужского духа теперь не выносит. Как вы полагаете, а, барышня?»

Я: «Конечно, вы правы: привычка дурная!»

Другой солдат: «А я, то есть, товарищи, полагаю: женский пол тут ни при чем. Ведь в глотку тянешь, — а глотка у всех одинакая. Что табак, что хлеб. А кавалеры любить не будут, оно, может, и лучше, мало ли нашего брата зря хвостячит. Лю — бовь! Кобеля, а не любовь! А полюбит кто — за душу, со всяким духом примет, даже сам крутить будет. Правильно говорю, а, барышня?»

Я: «Правильно, — мне муж всегда папиросы крутит. А сам не курит». (Вру).

Мой защитник — другому: «Так они и не барышни вовсе! Вот, братец, маху дали! А что же у вас муж из студентов, что ль?»

Я, памятуя предостережения: «Нет, вообще так...»